

## Отрешенное внимание (о даре жизни)

Предмет нашего интереса — род внимания, открывающий нас миру — другому человеку, окружению, пониманию (мысли) или верному действию; внимание, которое выступает и важнейшим условием философствования. Мы начинаем философствовать не тогда, когда «захотим» (надо написать статью или провести занятие), но всегда лишь *после того* или *в тот самый момент*, когда обнаружили или обнаруживаем себя «захваченным» чем-то, на что не обратить внимание уже не сможем: не мы внимаем чему-то, как будто нечто непроизвольно внимает самому себе, а мы — всего лишь «место», открытое всем ветрам, обозримое отовсюду, абсолютно пронцаемое. Это невольное *единение* — чистая, безосновная и вдохновляющая радость — и понуждает нас философствовать.

В том, что здесь утверждается, нет ничего нового. Многим обсуждаемое здесь знакомо. Философствованию приличествует скромность. Философ не творец, он лишь напоминает о том, что есть, о единстве, которое открывается нам как единение — с этим человеком, с этими людьми, с этой работой, выполняемой здесь и сейчас.

Напоминание (и себе не в последнюю очередь) вводит уже знакомое в поле нашего внимания как необходимое для продумывания. Скорее всего, в настоящий момент мы сосредоточены на другом: каждый думает о чем-то своем. В этом «обращении внимания» на то, что мы, возможно, упускаем из виду, оставаясь «при своем»<sup>1</sup>, привычных мыслях и текущих заботах, — и состоит призвание философии.

Что же мы упускаем из виду? Что нам желательно продумать заново?

Основания.

Назовем «основанием» то, что, служа опорой чему-то, само ни на что не опирается.

---

<sup>1</sup> Вспомним, к примеру, навевающую грусть констатацию продолжительных, но бесплодных усилий понять друг друга: «После двухчасовой дискуссии каждый остался при своем мнении».

«Безосновность» основания следует понимать двояко: в условном и в абсолютном смыслах. Главным мотивом действий Ивана Ильича (Л. Толстой «Смерть Ивана Ильича») до поры до времени был карьерный интерес, Николая Степановича (А. П. Чехов «Скучная история») — любознательность ученого-исследователя, а Антипова-Стрельникова (Б. Л. Пастернак «Доктор Живаго») с какого-то момента — злость на самого себя: он собственноручно разрушил брак с любимой женщиной; заглаживая свою неотрефлексированную вину, Стрельников решительно нарушает мир — он все делает для того, чтобы жизнь его возлюбленной складывалась достойно, без нужд в самом необходимом. Ведущий мотив наших действий выступает *основанием*, он служит опорой для многих поступков, связывает их, приводя к одной возможной причине. Но такого рода основание условно или относительно, поскольку у него есть своя точка опоры. Иван Ильич в конце своей жизни приходит к пониманию «простых вещей»: что всякий человек какими-то видимыми и невидимыми нитями вплетен в мир, но почему-то не хочет этого видеть; что мир — это всегда *единение*, которое никогда не бывает абстрактным: нельзя любить человечество или друзей, с которыми ты приятно проводишь время, и быть равнодушным к близким — нужно сделать так, чтоб им больно не было. Николай Степанович также обращает свое внимание на иные, чем прежде, основания своей жизни, хотя и понимает их не так, как Иван Ильич: он тоскует по тому, что называет «общей идеей». Всё в нем — каждая мысль, каждое чувство — живёт как-то особняком, и это неправильно, не складывается все в одно целое, осмысленное и живое. Если Ивану Ильичу перед смертью открылась истина единения, Николай Степанович только предчувствует существование оснований, которые уже ничто не поддерживает, — они (эти основания) «абсолютны» в той мере, в какой осознаются нами как таковые.

Мы упускаем из виду внимание к ближайшему, но не своему, — тому «абсолютному», что знакомо каждому как безотчетная радость, говорящая о том, что мы захвачены чем-то, что не является ни идеей, ни понятием, ни вещью, но что соединяет нас со всем — и с тем, на что обращены наши размышления, и с тем, на что направлены наша работа или общение, и еще со многим и многим другим.

А Антипов-Стрельников, похоже, так ничего и не понял: он остался «при своем» — обиженным и непреклонным. Он шел проторенными путями: его уязвленное эго предлагало надежный, проверенный веками рецепт исцеления — перекроение мира по собственной прихоти ради благой цели. Стрельников был лишен той естественной, не думающей о себе оригинальности, которой отмечено все подлинное.

\* \* \*

Философствуя, мы самостоятельно (невзирая на других) проявляем заботу об основаниях. О том, на чем мы «стоим». О том, что привносит смысл в совершаемое нами. О том, что придает нам силы. Вероятно, когда-то мы знали ответ на вопрос: зачем нам *все* это? Но помним ли мы об этом сейчас? Философствуя, мы вспоминаем (удерживаем во внимании) основания или конечный смысл того, что делаем. Оставаясь всегда «при своем», мы ничем не рискуем, только упускаем из виду подлинно «свое» — каждый из нас принадлежит тому, что никогда и ни при каких условиях не сможет заполучить в собственность. Философствуя, мы обращаем внимание на основания, при которых нельзя остаться как «при своем мнении»: «мое» здесь всегда оказывается под вопросом; это «свои» основания лишь потому, что они не «другие», не «чужие», но они и не «мои». Жалость к близким Ивана Ильича и тоска по «общей идее» Николая Степановича — проявление<sup>2</sup> в их жизни того, что открывается лишь в нашем уходе от себя — своего прежнего образа мыслей (жизни).

Суть единения — уход от себя, совпадающий с озарением (пониманием): «Ах, вот оно как!».

Именно это отрешение от себя, воссоединяющее его с близкими и озаряющее искупляющим пониманием, случилось с Иваном Ильичем за несколько мгновений до его смерти.

Как все это происходит? Почему Ивану Ильичу, пусть и на исходе его жизни, было дано понимание, а Стрельникову — нет? Трудно сказать. Оставим Стрельникова Стрельникову, а нам не лучше ли заняться собой?

---

<sup>2</sup> У одного (Иван Ильич) — непосредственно, в форме озаряющего понимания, у другого (Николай Степанович) — косвенно, в форме, больше похожей на «основную гипотезу» ученого.

На пике своего карьерного роста, когда жизнь Ивана Ильича стала более или менее налаживаться, появился достаток и открылись перспективы, он неожиданно захворал. Через какое-то время Иван Ильич понимает, что болен смертельно. Он страдает не только от боли физической, еще большее страдание доставляют ему муки нравственные: свою жизнь он, Иван Ильич, прожил как-то не так. Это ему ясно. Что-то было в ней неправильно, но что — взять в толк никак не может. От того он кричит, кричит истошно несколько дней подряд, доводя своих близких до отчаяния, криком человека, утратившего последнюю надежду, понимающего, что все кончено для него безвозвратно. И вот за час до смерти, на исходе третьего дня его сознание проясняется. Иван Ильич оказывается в состоянии, которое можно было бы назвать состоянием «преобразующего понимания» или «открытости», в котором Иван Ильич — так случилось — отрешился от себя. Иван Ильич наконец понимает, *что* нужно сделать, и это понимание освобождает его.

«Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик (сын Ивана Ильича. — Г. М.) тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умиравший все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но это можно еще исправить. Он спросил себя: что же “то”, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

“Да, я мучаю их, — подумал он, — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру”. Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. “Впрочем, зачем же говорить, надо сделать”, — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя... — Он хотел сказать еще “прости”, но сказал “пропусти”, и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что тут, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им больно не было.

Избавить их и самому избавиться от этих страданий. “Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты боль?”

Он стал прислушиваться.

Да, вот она. Ну что ж, пускай боль.

“А смерть? Где она?”

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — Вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

... “Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше”.

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер» [1, с. 95–96].

Случившееся с Иваном Ильичом удивительно тем, что оно едва ли возможно. Люди редко готовы изменить себе даже в мелочах, что уж говорить о серьезных переменах в жизни. Иван Ильич, видимо, был готов к переменам, его совесть была неспокойна.

Существует род понимания (речь идет о понимании «вещей жизненно значимых»), цена которого — всецелый отказ от себя, «умирание», отделение себя от своего прошлого.

Проблема понимания традиционно обсуждалась в терминах эпистемологии как процесс и результат постижения смысла, ограниченный, условно говоря, «головой», исключительно когнитивными способностями человека. Действительно, постигнутое Иваном Ильичом возможно описать как «знание». Если это и знание, то ненаучное, нестрогое, его нельзя обосновать, опровергнуть («сфальсифицировать»<sup>3</sup>), оно не обладает признаком общезначимости (с кем-то случается такого рода знание, а с кем-то — нет), да и к «рациональному» имеет оно отдаленное отношение и т. д. Иван Ильич, безусловно, что-то узнал, но эпистемология вряд ли поможет нам разобраться с тем, что произошло с ним. Эпистемология просто не заметит Ивана Ильича: его «знание» — не ее предмет. В философии XX века проблема понимания осмыслялась также и в терминах онтологии: в качестве основания

---

<sup>3</sup> Принцип фальсификации был введен К. Поппером. Этот принцип позволяет разграничить научное и ненаучное знание: первое, в отличие от второго, опровержимо.

понимания выступало уже не познание, но бытие — бытие текста, бытие общества и т. п. И здесь все вроде выходит как надо: мы, люди, не принадлежим исключительно себе, но еще и обществу, знаковым системам, нейрофизиологическим процессам (когнитивные науки) или виртуальной реальности (виртуалистика), что, конечно, верно — и «там» (и еще во многих других «местах») мы определенно есть. Но и здесь мы теряем Ивана Ильича, его (а не чьи-то еще) боль и слезы. Они меркнут на фоне масштабных исторических и иных событий: кому есть дело до одиноко стоящего человека?! Была еще экзистенциальная философия, которая прославилась тем, что как раз имела в виду одинокого человека, она приняла индивидуальное бытие в качестве основания и хорошо в одно время «заработала» на этом, ибо как только появилась особая «экзистенциальная философия», индивидуальное тут же обратилось в *общий* принцип. Страдания Ивана Ильича и в этом случае не принимаются в расчет. Они отдаются на откуп индивидуальному *порядку*, у которого есть своя логика, пусть экзистенциальная, но все же обобщающая. Обобщающая сила знания исподволь руководит философией экзистенции, уступая ей место лишь по видимости.

Слезы Ивана Ильича нельзя подвести под общее правило, эпистемологическое или экзистенциальное. То, что понял Иван Ильич на смертном одре, можно назвать «знанием», но оно для него неопровержимо не по законам логики или в силу экзистенциальной *необходимости*, а просто потому, что оно *его*, без всякий условий. В этом «знании» заключены стенания его умирающего эго. Поэтому то, что понял Иван Ильич, в то же время нельзя назвать только «знанием», это именно его страдающая жизнь. Иван Ильич знает страданием, которое и становится органом восприятия. Но, что может быть самое важное, в постижении Ивана Ильича, в *его* жизни, впервые для него, через боль и слезы, открывается другая жизнь (жизнь близких ему людей, сына, жены, которых он, оказывается, и не знал вовсе), как подлинно его жизнь. Отныне, после случившегося постижения, Иван Ильич уже не знает различения на свою и чужую жизнь. Есть одна жизнь, всегда новая и конкретная, проявленная в *нем* или в *ней*, просто они, возможно, пока упускают ее из виду.

Освобождающее (от эго) постижение вводит Ивана Ильича в состояние радости — смерти нет, потому как нечему умирать.

Существует *одна* жизнь, открывающаяся нам как радость и единение, — основание, которое вряд ли кому удастся обратить в принцип, понятие или экзистенциал. Эта жизнь представляет собой единство, которое единит без требований и условий, без необходимости и правил. Оно просто есть.

\* \* \*

Спросим себя: зачем мы занимаемся философией? Не для того ли, чтобы остаться «при своем»: обосновать (оправдать) свой привычный образ мысли, вести за собой, собирая вокруг «благодарных сторонников»? Не превратились ли мы в счастливых обладателей истины, хранящих свой капитал, подобно хитроумному миллионеру Корейко<sup>4</sup>, в увесистом чемодане?

Жизнь, которая одна, которая есть радость и освобождающее от эго понимание (постижение), нельзя присвоить и сохранить «при себе». Не должно ли философствование высвобождать эту жизнь из-под ига наших представлений и понятий? Истина не укладывается в наши представления о ней. Она — вызов, на который нам еще предстоит ответить. Философствуя, можно прятаться за удобными вопросами, а можно принять вызов. Истина ставит под вопрос наше Я. Философствуя, мы не столько придумываем новые или переосмысливаем старые концепции, сколько удерживаем себя под вопрошанием, открываясь тому, что еще может произойти, удерживая свое внимание на том, что мы, возможно, предчувствуем или уже знаем как *единение*. Задача у философа необыкновенно скромная: напомнить о внимании к основаниям, которые прежде концептуализации ждут нашего к ним обращения.

Нам свойственно избегать разного рода беспокойств — это так естественно! Не очень приятно думать об основаниях собственных действий. Это сложно и как-то тревожно: как будто нас лишают опоры. Есть ли рядом то, на что мы можем опереться?! Если мы достаточно разумны, мы отвечаем

---

<sup>4</sup> Герой сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок».

на призыв. Вот и Гераклит говорит: кто намерен говорить с умом, должен крепко держаться общего. Гераклит не оставляет нам ни одного шанса: если мы разумны, мы *должны* опираться на общее.

«Одна жизнь» — не общее, страдания Ивана Ильича — не общее. Вероятно, общим (для некоторых людей) является требование внимания к одной жизни и страданиям конкретного человека. Гераклит был строг, он взывал к необходимости опираться на общее. Он был прав в одном: это *нужно* человеку. Но возможно ли заставить человека отрешиться от себя?

Впрочем, иногда стоит опираться и на «общее», важно лишь понимать условность этой категории. «Общее» не только логическое понятие, объединяющее ряд признаков. «Общее» (в терминах онтологии) — бытие, служащее основанием; бытие, ни на что не опирающееся, но собой все объемлющее и единящее. Такого рода общее является все-общим. Всеобщее имеет проявленные и непроявленные аспекты. Философствуя, мы соприкасаемся как с проявленным, так и, возможно, с непроявленным. Непроявленное удерживается в *сказываемом* (здесь и сейчас) слове и переживании (озарение Ивана Ильича). Философствуя, мы проявляем заботу не только о проявленном — о том, что сказано или пережито, сколько о непроявленном, о том, что есть прямо здесь и сейчас, о том, что искать не нужно, но что взывает к «обращению внимания» на «него», обращению, ставящему нас, внимающих, под вопрос.

Философ использует разные идеи и концепции для того, чтобы напомнить слушателям или читателям о том, что они живут в тени непроявленного — одной жизни. Эту жизнь на самом деле не нужно выводить на свет, поскольку она сама есть свет, который мы по нашей «близости» к нему просто не замечаем. Не настало ли время открыть глаза? Зачем? Мы не узнаем ответ на этот вопрос до тех пор, пока не сделаем это. Когда же мы раскроем глаза, увидим, что всякая стоящая мысль или значимое дело возможны лишь во внимании к жизни. И это внимание не позволяет нам остаться «при своем».

\* \* \*

Существует род внимания, в поле которого происходит встреча внимающего и внимаемого; такая встреча, благодаря которой исчезает граница между ними, и потому понятие



встречи теряет свой смысл — все оказывается одним или единым. Это внимание, совпадающее с открытием глаз, и было названо «отрешенным вниманием».

Отрешенное от чего или от кого?

Отрешенное внимание — это внимание к тому, что не является объектом, и внимание того, кто не видит себя в качестве субъекта.

Одна жизнь, «всеобщее» (не являющееся понятием); жизнь, с которой мы встречаемся, не встречаясь, — не абстрактная идея, противостоящая нам в качестве предмета исследования. Реальность единения — отсутствие дистанции, неразделенность. Отдельность здесь мнима. Одна жизнь — не объект, в противном случае она отделена от всего, то есть жизнь не одна, не единое. В отрешенном внимании не мы внимаем, ибо нечему внимать, но сама жизнь внимает всему. Смерть была страшна Ивану Ильичу до тех пор, пока он воспринимал ее как противостоящее ему событие, объект его переживаний. Когда же ему удалось открыться, он внезапно понял, что смерти нет, потому как *все*, включая то, что с ним происходит, есть одна жизнь.

Внимание, длительное время сосредоточенное на одном объекте, называется концентрацией. Отрешенное внимание — не концентрация. Концентрация предполагает не только объект сосредоточения, но и того, кто сосредотачивается. Жизнь не подчиняется воле философствующего. Это означает: мы способны удержать внимание лишь в определенных границах, дальше что-то должно произойти помимо нашей воли. Мы должны позволить проявиться «непроявленному», чему-то, что, возможно, является основанием, но не для нас — не мы опираемся на что-то, а это что-то опирается на нас, не нуждаясь ни в каких опорах. Самые крепкие основания — те, что не мы находим, а те, которые находят нас; те, на которые нельзя опереться: они поддерживают, не становясь опорой, то есть объектом или субъектом. Оказывается, достичь глубины возможно не ныряя; подняться на высоту не взлетая — все везде одно.

Отрешенное внимание — дар жизни, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что оно — чистое, концентрированное счастье. Этой радостью много не заработаешь: не по-

строишь теорию, не перекроишь мир в угоду своим интересам. Все это настолько просто, что с этим определенно ничего нельзя сделать. Остается только жить.

ЛИТЕРАТУРА

*Толстой Л. Н.* Смерть Ивана Ильича // Собр. соч. в 12 т. / Л. Н. Толстой. Москва : Правда, 1987. Т. XI. С. 42—96.